

**ПЕТР  
ВЯЗЕМСКИЙ**

ОЗЕРОВ

# Петр Андреевич Вяземский Озеров

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24525487](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24525487)*

## **Аннотация**

«Имя Озерова, как ни суди о степени драматического дарования его, которого самобытность, впрочем, никак отрицать нельзя, занимает светлое, если не единственное, место в летописях русской трагедии, по крайней мере той, которую ми привыкли называть классической...»

# Петр Вяземский

## Озеров

Имя Озерова, как ни суди о степени драматического дарования его, которого самобытность, впрочем, никак отрицать нельзя, занимает светлое, если не единственное, место в летописях русской трагедии, по крайней мере той, которую ми привыкли называть классической. Многие и многие годы он безраздельно господствовал на трагической сцене театра нашего. Трагедия его: «Эдип», «Фингал», «Дмитрий Донской» были любимыми представлениями публики обеих столиц. Замечательно, что наша публика, средняя и низшая (или высшая, то есть сидящая в амфитеатре и в райке), едва ли не предпочитает трагедию всем другим отраслям драматического искусства. Смеяться может она и даром: а если заплатит деньги, то хочет, чтобы ее заставляли плакать или вздрагивать от ужаса. Как бы то ни было, трагедии Озерова удовлетворяли требованиям зрителей образованных и полубразованных. Они не только возбуждали общее сочувствие, но им обязаны были образованием актеры, воспитывавшие искусство сипе, так сказать, в школе Озерова. Достаточно назвать Семенову. Ее умная, понятливая игра, ее верное и глубокое чувство, выразительный, сладкозвучный и обработанный голос, не говоря о женской прелести, которою была она одарена, все оставило в памяти знавших ее сильное впе-

чатление: это впечатление не было после ни ослаблено, ни заменено другими новейшими впечатлениями. С Озеровым и Семеновой как будто умерла только что родившаяся русская трагедия.

Последнее произведение Озерова, «Поликсена», не имело, как известно, успеха. В представлении видеть ее мне не случилось; но если и в самом деле она потерпела поражение от невнимательности и холодности публики, то скажем откровенно, что это поражение не приносит чести зрителям. Они не умели оценить трагедию, которая, и по содержанию и по языку, есть, без сомнения, лучшее произведение Озерова. Впрочем, если оно было и так, то окончательно и безусловно нельзя обвинять и публику нашу. Сколько и в других литературах видим драматических творений, которые не с первого шага вступили твердою ногою на сцену. Напомним, между прочим, «Федру» Расина. Публика часто, если не всегда, своенравна. Сегодняшний ее восторг не ручается за успех завтрашнего дня. С другой стороны, и гнев ее нередко обращается на милость.

«Поликсену» давали только два раза. Потом сдали ее в театральный архив, на том основании, что принесла она Дирекции только 1846 руб. 25 к. Этот рублевый и копеечный расчет, этот взгляд на выручку театральной кассы, уже чересчур несовместны со взглядом, который должно обращать на творения искусства. Разве театр одно промышленное и торговое заведение? Театр должен быть вместе с тем, и прежде

всего, изящным и просвещенным развлечением публики; кроме того, по возможности нравственным и художественным училищем ее. Не одним прихотям публики должен он себя подчинять. Есть у него и другое, высшее призвание. Часто, и вопреки ей самой, обязан он очищать, облагораживать ее понятия, ее требования и наклонности. Обязан он возвышать уровень ее вкуса, воспитывать его; одним словом, так образовать публику, чтобы она с просвещенною взыскательностью вызвала и породила великих авторов и великих актеров.

Мы вовсе не принадлежим к числу театральных законодателей и блюстителей общественного благочиния, которые исключительно смотрят на театр, как на исправительный и смирительный дом, куда нужно засаживать публику для укрощения и наказания человеческих пороков. Мы вовсе не расположены проповедовать такое строгое, одностороннее и уголовно-драматическое учение. По мнению нашему, нет никакой беды, нет никакого греха забавлять иногда публику даже и шуточными представлениями, фарсами, пародиями и т. д. Мы даже осмеливаемся думать, что иные, так называемые нравоучительные и народные драмы, где человеческая испорченная природа выставляется во всей своей сырой и *реальной* наготе, во всей своей соблазнительной истине (и то частной и случайной), гораздо вреднее и пагубнее могут действовать на публику и развращать ее чувственность и понятия, нежели все *Прекрасные Елены* и всевозможные причуды

и шалости, выводимые на сцену изобретательностью и плодovitостью Оффенбаха и его школы. В этих шутках, если не всегда целомудренных, по крайней мере не оскорбляется человеческое и русское чувство безобразными и дикими картинами, списанными будто с народного быта. Во всяком случае, мало ли что есть в народном и человеческом быте? Мало ли что есть и в природе неблагоприятного и отвратительного? Искусству незачем кидаться с жадностью на эти потребности и печальные исключения. Некоторые драматурги, выставляя пьяного негодяя и бесстыдную женщину, думают, что драма у них уже и готова. Предпочитаем шутки, выдаваемые за шутки, всем этим притязаниям на какое-то преподавание народной нравственности в образцах распутства и чувственной развратности. Но при этом изъявлении широкой терпимости нашей в отношении к драматическим шуткам, мы все же окончательно думаем, что театр прежде и выше всего должен поощрять, ценить и оглашать изящные произведения чистого и благородного искусства. Внутреннее наслаждение, развиваемое в нас зрелищем прекрасного, имеет уже в себе свою образовательную и нравственную силу. Музыка ничему не учит, никакой порок не обличает и не клеймит, не выставляет нам образцов добродетели, которым следует подражать: но впечатлительная и чувствительная душа не без пользы подчиняется ее вдохновительному и благотворному действию и очарованию.

В «Деле о Поликсене», которое отыскал И. П. Варпахов-

ский и за сообщение которого мы ему обязаны и весьма благодарны, никакое Озерову враждебное имя не проглядывает из-под канцелярской тайны. Все в порядке, и все ведено как следует. Но не чувствуется ли, не подразумевается ли, что тут невидимо скрыта какая-то недобрая сила и лукавая цель? Вот вопрос, на который желали бы мы дать, правдоподобное и удовлетворительное объяснение.

Решителями тяжбы, проигранной Озеровым, являются: А. Л. Нарышкин, князь А. Н. Голицын и окончательно император Александр. Руководствуясь теорией вероятностей, постараемся исследовать: могли ли эти личности, по собственному побуждению и убеждению, постановить приговор, который всю свою беспощадную строгость и, можно сказать, несправедливостию должен был обрушиться на голову несчастного Озерова?

Мы Нарышкина знали: да и кто, по крайней мере по слухам, не знал и не знает его? Он был добродушный, приветливый, беззаботный, веселый барин старого покроя. Он был очень остер и мастер играть словами. Слова и остроты его переносились из Петербурга во все края России. Если собрать их, вышла бы порядочная и очень веселая *Нарышкиниана*. Но при этих привлекательных качествах, уже никак нельзя было назвать его скопидомом. Расточительность его, до расстройств значительных и богатых поместий, известна столько же, сколько и его шутки и побасенки. Он сам шутил над нею, над собою и над своими заимодавцами.

Однажды на великолепном празднике у него в доме, император Александр, похваляя устройство и пышность праздника, сказал ему: «А порядочно все это должно тебе стоить?» – «Нет, ваше величество, – отвечал Нарышкин, – не более 25-ти рублей». – «Как 25-ти рублей?» – «Которые придется мне заплатить за вексельную бумагу».

Приглашенный на вечер к императрице Марии Федоровне, приехал он, не имея на себе Андреевской звезды, алмазами украшенной. Императрица шутя ему о том заметила. «Mes diamants, madame, – сказал он, – s'excusent de ne pouvoir se presenter a V. M. Ils sont *engages utile urs*»<sup>1</sup>.

Когда-то при нем разговорился я с кем-то о драматических переводах. Он вслушался и перебил нашу речь: «Переводите все, что вам угодно, и Расина и Вольтера, только, прошу покорно, не переводите на меня долгов: у меня и своих довольно».

Нисколько не желая оскорбить память любезного человека и задеть укором гражданскую честность его, можно себе, однако же, дозволить вопрос: при такой личной расточительности и при таком презрительном взгляде на *презренный металл*, мог ли он быть способен соблюдать казенные интересы до скряжничества и до оскорбления человека, которого дарование и драматические заслуги дол-ясен он был ува-

---

<sup>1</sup> Непереводимая игра слов: значение французского слова *engager* отвечает двум нашим: *пригласить* и *заложить*. (Примеч. П. А. Вяземского). Мои алмазы, мадам, приносят извинения, что они не могут представиться вашему величеству. Они заложены в другом месте (*фр.*).



жать, и, без сомнения, уважал?

Два представления «Поликсены» принесли 1846 г. 25 коп. Что стоило бы Театральной дирекции дать еще два-три представления, чтобы выручкой недостающих 1153 р. 75 к. доколотить эту несчастную сумму, не превышающую 3000 рублей? Мы видим из писем Озерова к А. Н. Оленину, как заботливо и болезненно хлопотал он о ней: разумеется, не из корысти и алчности к деньгам, а, вероятно, из авторского сознания и личного достоинства. Помним, что в то время еще разыгрывались трагедии Княжнина, например «Дидона». Содержание ее также взято из классической древности и не могло иметь для зрителей современную заманчивость. О художественном превосходстве над нею «Поликсены» и говорить нечего.

А собиралась же публика смотреть на «Дидону»! Во всяком случае, собиралась бы она, хотя от нечего делать, и на представление «Поликсены». И эти роковые 3000 руб. были бы наконец собраны.

К чему же эта торопливость Нарышкина ходить с докладом к государю о такой ничтожной сумме? К чему после двух представлений решительно объявлять, что трагедия *не может быть выгодна для дирекции* и потому она, то есть дирекция, *остановилась ее представлять*? Подумаешь, что публика каким-нибудь формальным заявлением удостовери-ла дирекцию, что она ни за какие блага в мире не станет ходить в театр, когда дают «Поликсену».

Воля ваша, все это странно и невероятно! Все это не похоже на Нарышкина. Хотя в докладе его некоторым образом испрашивается высочайшее соизволение на выдачу Озерову условленных с ним денег, но только не из дирекции, *потому что она не имеет на то надлежащих сумм*. Не иметь 1153 р. 75 к., когда сотни тысяч рублей отпускались ей из казны? А главное дело, к чему вносить все эти домашние и ничтожные расчеты на решение государя? Вероятно, не представлялись же ему ежедневные репортички о выручках театральной кассы. К чему же это предпочтение, оказанное бедной «Поликсене»?

Далее: нет сомнения, что при более благовидной обстановке этого дела и князь А. Н. Голицын не дал бы всеподданнейшему докладу своему той официальной формальности, которая выразилась в ответе его. Князь Голицын мог не быть посетителем театров и мало дорожил успехами драматического искусства. Охотно соглашаемся. Все это было для него дело постороннее. Но он был умный и образованный человек; был вместе с тем мягкосердечен и услужлив, более был склонен иногда легкомысленно и неосторожно одолжать, нежели сухо отказывать в добром участии.

В императоре Александре и сомневаться нечего. Будь это дело ему представлено – а необходимость представления кажется нам очень сомнительною – не в виде какого-то бухгалтерского расчета по театральной кассе, он, конечно, обратил бы на доклад более сочувственное и милостивое внимание. В

кипе разнородных, многосложных и многочисленных бумаг, которые представляли ему ежедневно на утверждение, можно ли удивляться, что подобная бумага проскользнула у него между глаз и мыслей? Никто не дал себе труда выставить пред ним с особенным благорасположением, что речь идет о творце «Димитрия Донского». Эта трагедия имела в свое время литературное и политическое значение, которому не мог не сочувствовать император Александр. В ней (и, между прочим, в посвящении этой трагедии имени государя), кроме намеков на современные события, как будто пророчески слышится и недалекий 1812 год. Нет, при мало-мальски теплом ходатайстве, Александр решил бы это дело не по строгим правилам контроля, а по внушению сердца и по уважению к литературным заслугам поэта.

Теперь, указав на всю несостоятельность приведенных доводов и предположений, которыми можно было бы объяснить законное падение «Поликсены», должны мы домогаться более правдоподобного объяснения этого дела в каких-нибудь побочных происках, прикрытых канцелярскою проделкою.

И в этих изысканиях невольно, но с каким-то убеждением, натыкаешься на имя князя Шаховского: как ни делай, как ни вертись, а окончательно приходится же произнести это имя. Князь Шаховской был действующим и деятельным лицом в театральной дирекции. Нарышкин был внешне главным директором зрелищ; но внутренне князь Шаховской был глав-

ным двигателем мира кулисного и закулисного. Он, сказывают, был в обществе очень приятный, словоохотливый и забавный собеседник. Эти свойства должны были сблизить его с Нарышкиным: оно так и было. Он был совершенно домашним у доступного и гостеприимного Нарышкина. Театральная специальность Шаховского должна была вполне овладеть доверием довольно беззаботного начальника. Оно так и было. К тому же князь Шаховской был и сам драматический писатель. Вот улики если не вещественные, не буквально-законные, то умозрительно-подходящие к делу. В то время эти улики были приняты в соображение. Мнение многих обвиняло князя Шаховского в падении «Поликсены»; а вследствие того, по роковому логическому выводу, и во всех скорбных обстоятельствах, которые после выпали на долю чувствительного и злополучного Озерова. Это мнение довольно ясно и гласно было выражено и в литературных заявлениях. В числе обличителей назовем: Блудова, Дашкова и Жуковского. Князь Шаховской не возражал на эти обвинения. А имей он убедительные доказательства безучастия своего в этом деле, он мог, более того, он обязан был очистить себя от оскорбительного и несправедливого наговора. Тут дело шло не просто о литературном споре, о литературных мнениях, более или менее резких: оно отчасти касалось совести и личной чести. Тут пренебрегать выраженным мнением нельзя. С этой точки зрения обратили и мы пытлиное внимание на старую тяжбу, прошедшую сквозь много дав-

ностей, а все еще окончательно не решенную. Дело в том, что если князь Шаховской прав и чист, то виноваты обвинители его: обе стороны совершенно нравы быть не могут; из них одна подлежит осуждению. По убеждению и по совету выбор для меня здесь не затруднителен. Мнение, неблагоприятно выраженное для князя Шаховского, принадлежит людям, которых нельзя заподозрить в зависти, в недобросовестности и в других неблагоприятных побуждениях. Можно укорить их разве в некоторой запальчивости и резкости.

Но вот ля и в этом деле каких-нибудь облегчающих или послабляющих обстоятельств? Поищем. Эти старые литературные распри давно затихли. Поле битвы замолкло и остыло. Отважные и пылкие бойцы давно сошли с поля битвы: многие и с лица земли. Оставшиеся устарели и с холодом годов остепенелись. Мог бы я сказать оставшийся: это было бы еще ближе к истине. Один из героев трагедии Озерова, о коей идет здесь речь, говорит:

Но жизни перейдя волнуемое поле,  
Стал мене пылок я и жалостлив стал боле.

Здесь приходится сказать не боле *жалостлив*, а уступчивее, умереннее. На участие Шаховского в этом деле, если и признать его несомненным, можно ныне смотреть бесстрастное и разностороннее. Князя Шаховского я не знал, но по некоторым отзывам о нем могу заключить, что был он че-

ловек не злой, а скорее простосердечный. Были у него друзья; они нередко смеялись над ним (что видно, например, в рассказах старика Аксакова), но любили его; следовательно, имел он качества, привлекающие сочувствие. Но он был писатель в исключительном и полном, хорошем и дурном, значении этого слова; а потому более или менее раздражителен и способен увлекаться. Литературные страсти и убеждения, как и политические, часто изменяют нрав и натуру человека. Лица, захваченные этими страстями, бывают нередко односторонни, чтобы по сказать помотаны на одной точке. Не трогай их больного места, они люди смиренные и уживчивые. Коснись слегка их болячки, то есть их любимой мысли, или болезненно гнездящегося в них мнения, они готовы лезть на стену и вцепиться в противника. Озеров, кажется, не был лично знаком с Карамзиным; но по всему судить можно, что он принадлежал к школе его, то есть к московской школе. Князь Шаховской был ревностный старовер петербургского толка, то есть иступленный послушник Шишкова. В то время эти две школы были два лагеря между собою враждебные. В комедиях своих Шаховской задевал Карамзина, а позднее и Жуковского. Творения Озерова, по убеждению или предубеждению, правиться ему не могли. Это было бы с его стороны отступничество. Легко стать, что он не имел и врожденного поэтического чувства, чтобы оценить их, чтобы сочувствовать им. Шишков также был человек не злой, но увлекаемый страстью. Помню, что во время оно видел я эк-

земляр трагедии «Димитрия Донского», весь испещренный резкими и часто бранными отметками Шишкова. Вспомним, с каким ожесточением напал он когда-то на Карамзина как на врага русского языка и чуть ли как не на врага России. В этих литературных страстях, может быть, и отыщется вся разгадка дела о «Поликсене». На дороге, извивающейся покатою, трудно держаться середины: так человека и уносит к крайностям. Князь Шаховской, может быть, полагал и в самом деле, что он оказывает услугу русской литературе, затормозив дальнейшее движение Озерова. Во всяком случае, было бы непростительно допустить, что он мог предвидеть пагубные и плачевные последствия, которые повлекло за собою противодействие его успехам Озерова. Можно не любить соперников и противников своих: по человеческой слабости можно иногда загоразивать и дорогу им. Это выдалось. При некоторой зоркости зрения, может быть, видится и ныне. Но рыть яму противнику своему, так чтобы он непременно в нее рухнул и оставил в ней кости свои, подобное явление, к чести человечества, более редко. Приписывать такое намерение, или нечто вроде этого намерения, князю Шаховскому в отношении к Озерову мы не вправе и нисколько бы не желали. Мы добросовестно выделяем долю человеческой слабости и авторской запальчивости, но далее не идем и не хотели бы идти.

Как новый докладчик по делу о «Поликсене», представляю доклад свой, без формального заключения, на беспри-

страстное суждение читателей, этих присяжных всякой литературной тяжбы. Тяжба устарела, согласен.

Ни до Озером, ни до Шаховского теперь никому нет дела; но в восстановлении истины, и маловажной, или, по крайней мере, в попытке восстановить то, что признаешь за истину, есть удовлетворение внутренней потребности и приятная обязанность для тех, которые, где бы то ни было и в чем бы то ни было, любят истину отыскивать.

*1869*